



Ноль
по шкале
цвета

Лин Лим

Ноль по шкале цвета

«Автор»

2026

Лим Л.

Ноль по шкале цвета / Л. Лим — «Автор», 2026

Студент, потерявший цвет, и девушка, задыхающаяся от его избытка, находят друг в друге единственное спасение. Спасение, которое ведёт к трагедии.

© Лим Л., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	13
Глава 3	19
Глава 4	23
Глава 5	27
Глава 6	30

Лин Лим

Ноль по шкале цвета

Глава 1

ПОКА КРАСКИ НЕ ПОГАСЛИ.

Мне снится палитра.

Она лежит у меня в руках — старая, деревянная, с выщербленным краем, который когда-то зазубрился об угол стола, и с тёмным маслянистым пятном на обратной стороне, оставшимся после того, как я однажды пролил растворитель и не успел вытереть. Я помню каждую царапину на этой палитре, потому что она принадлежала мне — не купленная в магазине, не подаренная на праздник, а найденная в старом шкафу, отмытая, отскобленная, ожившая под моими пальцами. Она пахнет деревом и краской, и этот запах для меня всегда был запахом безопасности.

В ячейках — мои цвета. Не те, что продаются в коробках, с фабричными названиями и ровными этикетками. Мои. Те, которые я создал сам, ночами, когда весь дом затихал и только настольная лампа освещала маленький круг на столе. Я смешивал, капал, пробовал кистью на бумаге, смывал и начинал заново. Каждый оттенок был моим секретом, моим ритуалом, моей молитвой.

Синий — глубокий, почти чёрный у края, тяжёлый, как предгрозовое небо, но, если добавить в него каплю жёлтого, он вдруг становился прозрачным и зелёным, напоминая лес в середине июля, когда листва уже не молодая, но ещё не уставшая, и солнечные пятна падают на землю сквозь густые кроны. Я назвал этот оттенок про себя, но никогда не произносил вслух — имя казалось слишком личным, слишком хрупким, чтобы его можно было подарить кому-то.

Красный в соседней ячейке был совсем другим — не кричащим, не праздничным, не тем, который вешают на флаги и дарят на свидания. Мой красный был тёмным, густым, почти коричневым в тени и алым только у самого края, если повернуть палитру к свету. Он выглядел так, будто хранил в себе что-то давнее — может быть, память о том, чего я сам не переживал, но что каким-то образом отпечаталось в моих пальцах, когда я водил кистью по бумаге.

А жёлтый — с прозеленью, как первый одуванчик, пробившийся сквозь асфальт, как свет в конце тоннеля, которого ты ждёшь, но не уверен, что он вообще существует. Этот цвет всегда давался мне труднее всего — слишком прихотливый, слишком капризный, он требовал особого терпения, особого настроения. Но когда я наконец его добивался, он сиял изнутри, и мне казалось, что я могу смотреть на него вечно.

В центре палитры, в самой большой ячейке, лежало то, ради чего я работал всю прошлую ночь — смесь синего, капли чёрного и чуть-чуть жёлтого, которую я создавал почти вслепую, доверяясь интуиции больше, чем глазу. Получилось нечто неожиданное — цвет, которого, я был уверен, не существует в природе. Он был глубоким, как вода в горном озере, и холодным, но в то же время в нём чувствовался какой-то скрытый свет, будто там, на дне этой синевы, всё

ещё теплилась жизнь. Я долго смотрел на него, забыв о времени, и в какой-то момент понял, что не могу отвести взгляд — словно этот цвет смотрел на меня в ответ.

— Покажи, я тоже хочу посмотреть, — говорит (?).

Я почти забыл, что он здесь. Его голос звучит тихо, почти осторожно, и я поднимаю голову. Он стоит рядом, смотрит на палитру с тем самым выражением — не насмешливым, не завистливым, а просто внимательным, как у человека, который понимает, что перед ним нечто важное.

Я поднимаю палитру выше, чтобы ему было видно. (?) всегда первый, кому я показываю. Он никогда не смеётся. Он понимает, или я хочу так думать...

— Красиво, — говорит он почти шёпотом. — А можно мне?..

Я не успеваю ответить. Я даже не успеваю понять, что он имеет в виду — подержать палитру? попробовать самому? — потому что в следующую секунду всё рушится.

Я слышу смех. Он такой громкий и такой чужой

Я поднимаю глаза — вокруг нас лица одноклассников. Они выросли из ниоткуда, словно ждали этого момента за сценой и только сейчас получили сигнал выходить на свет. Кто-то выхватывает палитру у меня из рук — я даже не вижу кто, пальцы просто смыкаются на деревянном крае, выдёргивают её из моих ладоней, и я остаюсь с пустыми руками, не успев ничего сообразить.

— Ого, смотрите! — кричит девчонка с первой парты. Её голос режет ухо, как стекло. — Наш Ахрома краски мешает! Как настоящий художник! Ты кем себя возомнил за этой размазнёй?

— Покажи ещё! — орёт кто-то сзади. — А ну, дай сюда!

Палитра летит на пол. Я слышу глухой удар дерева о линолеум, а потом — звук, от которого у меня сжимается всё внутри: краски выплёскиваются из ячеек, растекаются в разные стороны, смешиваются, наезжают друг на друга, и я смотрю на это как в замедленной съёмке, не в силах пошевелиться.

Синяя лужа течёт к моим кроссовкам, и в ней отражается лампа под потолком — тусклый белый блик на тёмно-синей глади. Красная расплзается в другую сторону, наткнется на жёлтую, и в месте их встречи рождается оранжевое пятно, яркое и чужеродное — я никогда не создавал оранжевый, он казался мне слишком простым, слишком очевидным, и вот теперь он растекается по полу, как издевательство.

Потом кто-то наступает в эту лужу ногой — тяжёлой школьной туфлём с толстой подошвой. Краски разлетаются брызгами, и несколько капель попадают мне на лицо — я чувствую их на щеке, холодные, противные, словно грязь. Синий смешивается с красным, красный с жёлтым, жёлтый с чёрным от подошвы, и теперь на полу уже не цвета — одна сплошная серо-бурая жижа, которая медленно течёт к стене.

— Художник-неумёха! — кричат теперь почти все. — Смотрите, наш неумёха плачет!

Я не плачу. Я просто стою и смотрю на то, что осталось от моей палитры. Она перевёрнута, края заляпаны грязью, и среди всей этой серой массы я всё ещё вижу маленький кусочек того уникального цвета — сине-зелёного с каплей чёрного — который уцелел в трещине доски и теперь смотрит на меня как последний живой глаз.

Я поднимаю взгляд и ищу среди лиц (?).

Он стоит чуть поодаль, прислонившись к стене. На его лице — улыбка. Не широкая, не злая. Он смотрит на меня, и в его глазах нет ничего — ни сожаления, ни злорадства, ни даже радости. Только пустота.

— (?), — говорю я. Голос звучит чужим, тонким, как у маленького мальчика. — Зачем ты это сделал? Что я сделал не так?

Он пожимает плечами, поправляет лямку рюкзака.

— Не называй меня так, — отвечает он равнодушно. — Мы теперь не друзья.

Кто-то хлопает его по плечу — парень из старшего класса, которого я раньше не замечал. Они улыбаются друг другу. Новые друзья (?)?

Я снова смотрю на пол. На лужу, которая была моим необычным цветом. Теперь она серая, и красный тоже серый, и жёлтый и тот уникальный цвет, который я создал прошлой ночью, исчез — растворился в грязи, перестал существовать, как будто его никогда и не было.

Я поднимаю глаза на мир вокруг. Стены класса — серые. Доска — серая. Лица одноклассников — серые, размытые пятна без черт. Даже свет лампы над головой кажется не жёлтым и не белым, а просто светом — бесцветным, пустым, ничем.

Я больше никогда не увижу цвет.

Я знаю это сейчас, в эту секунду, стоя посреди класса, глядя на растоптанные краски и смеющихся детей.

— Вейн.

Голос издалека. Я не отзываюсь.

— Вейн!

Резкий звук — удар по дереву. Кто-то стучит прямо перед моим лицом.

Я открываю глаза.

Голос звучит снова, уже ближе, почти над ухом.

— Вейн.

Я открываю глаза и первое, что я вижу, — это серая стена. Потом — более серая доска, белый рукав собственной рубашки, на который я случайно смотрю, потому что не могу сразу сориентироваться, где я и почему меня так трясёт.

— Вы с нами?

Преподаватель стоит надо мной, точнее, надо мной и партой, за которой я сижу, и его лицо находится на таком расстоянии, что я могу разглядеть каждую морщину вокруг губ и серые точки в глазах. Его голос звучит ровно, почти без интонации, но в паузе после вопроса чувствуется что-то вроде терпеливого раздражения — он ждал ответа дольше, чем собирался.

Я тру переносицу. Пальцы двигаются сами собой, автоматически, потому что этот жест давно стал рефлексом, и мне не нужно думать, чтобы его выполнить. Провожу подушечкой указательного пальца от переносицы к кончику носа, потом обратно, и только после этого могу ответить.

— Да. В смысле, я здесь.

Голос хриплый, как будто я не говорил несколько дней, хотя на самом деле прошло всего несколько секунд или минут. Я не знаю. Время после сна всегда течёт иначе, размазывается, теряет форму, и мне нужно несколько мгновений, чтобы поймать его за хвост и заставить снова подчиняться.

Преподаватель — мужчина лет пятидесяти, в сером пиджаке и серых брюках, с серыми волосами и серым голосом — смотрит на меня ещё секунду, потом кивает и отворачивается к доске.

— Первая пара. Вводная лекция. Я не рекомендую спать на ней, даже если вы уже всё знаете.

Кто-то смеётся сзади, коротко и негромко, но я не оборачиваюсь. Я смотрю в окно, потому что мне нужно проверить.

Небо за стеклом — серое. Не голубое, не синее, не то, которое могло бы быть, если бы всё было по-другому. Просто серая плоскость, расчерченная силуэтами серых домов и серых деревьев. Листья на ветках — я присматриваюсь, потому что мне нужно убедиться — тоже серые. Никакого зелёного, никакого жёлтого, никаких оттенков, которые могли бы обмануть меня, если смотреть под определённым углом. Только серая бумажная листва, вырезанная из старой газеты и приклеенная к небу.

Всё на месте.

Я выдыхаю и не понимаю, почему внутри всё ещё колотится какая-то глупая, детская надежда. Каждый раз после сна — не важно, какого, страшного или пустого — в груди поднимается что-то тёплое и болезненное, какой-то идиотский отблеск того, кем я был раньше. И каждый раз реальность гасит его одним движением, одним взглядом на серый мир за окном.

Я снова тру переносицу. Это помогает сосредоточиться на настоящем.

Сосед слева — я даже не знаю, как его зовут, — пишет что-то в тетради. Ручка у него чёрная, потому что чёрный — это единственный цвет, который я ещё могу отличить от серого, и то только потому, что чёрный — это отсутствие всего, даже серого. Он глубокий и пустой, как колодец, в который я смотрю каждый день.

Сосед справа листает телефон. Экран светится серым. Иконки приложений — серые. Фотография на заставке — кто-то улыбается, но я не вижу улыбки, я вижу только контуры, серые, невыразительные, как и всё вокруг.

Преподаватель начинает говорить о предмете — кажется, это психология или что-то вроде того — но я не слушаю. Не потому, что мне неинтересно, а потому, что звуки сливаются в один шум, такой же ровный и безликий, как свет под потолком. Я знаю, что должен сидеть, кивать, иногда смотреть на доску, чтобы не привлекать внимания. Я делаю это уже почти три года — притворяюсь, что слушаю, притворяюсь, что вижу, притворяюсь, что я здесь, в этой комнате, вместе с ними.

Но на самом деле я давно уже не здесь. Я там, где нет цвета, нет шума, нет людей, которые смотрят на тебя и ждут, что ты скажешь что-то правильное, что-то нормальное, что-то такое, что докажет, что ты такой же, как они.

А я не такой. И уже никогда не буду.

Пальцы сами собой опускаются на крышку парты. Я провожу по её поверхности — гладкой, прохладной, реальной. Пластик или дерево, не важно. Главное, что я чувствую его под пальцами, и это помогает мне не провалиться обратно в сон, где краски кричат, а потом гаснут.

Я трогаю край тетради — шершавый, немного загнутый. Край ручки — пластиковый, с мелкими зазубринами от крышки. Реальность возвращается тактильно, медленно, по миллиметру, и через несколько минут я уже могу дышать почти нормально.

Лекция продолжается. Преподаватель пишет на доске какие-то термины — я вижу серые буквы на сером фоне и понимаю, что мог бы их прочитать, если бы захотел, но я не хочу. Я просто сижу и смотрю на движение мела, на то, как кусочки серой пыли падают на пол, и думаю о том, что скоро будет перерыв, потом вторая пара, а дальше я пойду в коридор, где никого не будет.

Первый учебный день начался.

Серый, пустой, безопасный.

Как и все предыдущие.

Когда лекция закончилась — я даже не заметил, как именно, просто в какой-то момент преподаватель замолчал и закрыл папку, — я поднимаюсь с места одним из первых, но не

потому, что тороплюсь. Просто если выйти сразу, можно успеть занять позицию у дальнего окна, прежде чем коридор заполнится людьми, и тогда тебя не будут задевать плечами, не будут толкать, не будут случайно наткнуться на тебя и извиняться тем самым тоном, который на самом деле означает «почему ты вообще здесь стоишь?».

Я выхожу в коридор и поворачиваю налево, потому что направо — столовая, а там всегда много народу, и свет там яркий, и кафель блестит, и всё это вместе создаёт какую-то неприятную, липкую атмосферу, от которой у меня начинает болеть голова. Я не знаю, связано ли это с цветом — вероятно, нет, ведь я всё равно не вижу цвета, — но я научился избегать мест, где слишком шумно и слишком тесно, просто потому что моему телу там нехорошо. Оно начинает гудеть, как трансформатор, и я чувствую каждое прикосновение чужой одежды, каждый случайный взгляд, каждое «ой, извините», которое на самом деле ничего не значит.

Окно в конце коридора — моё обычное место. Оно большое, от пола до потолка, и выходит во внутренний двор, где никого нет, потому что студенты предпочитают курить у главного входа или сидеть на скамейках с другой стороны здания. Здесь, у этого окна, всегда тихо.

Я подхожу к подоконнику, опираюсь на него локтями и смотрю на двор. Асфальт там серый, стена соседнего корпуса тоже серая, небо серое, и даже редкие кусты у забора кажутся не зелёными, а просто каким-то более тёмным оттенком серого, который мог бы быть зелёным, если бы я помнил, как выглядит зелёный. Но я не помню или делаю вид, что не помню.

Сзади начинают собираться люди. Сначала несколько человек проходят мимо — я слышу шаги, обрывки разговоров, смех. Потом поток становится гуще, и коридор наполняется головами, шарканьем подошв по линолеуму, звонками телефонов и щёлканьем зажигалок. Я не оборачиваюсь, потому что мне не нужно смотреть, чтобы знать, что происходит. Достаточно слушать.

— На первой паре уже отключился, представляешь?

— А это который? Вон тот, у окна?

— Да, в белой рубашке. Стоит как памятник.

— Странный какой-то... Но на удивление, внешностью очень даже неплох. Жаль, что у красавчиков часто странное поведение.

Я не поворачиваю голову. Я смотрю на асфальт внизу и считаю про себя. Один, два, три, четыре, пять... до десяти, потом ещё раз, потом ещё. Это помогает не слышать или слышать, но не реагировать.

Кто-то пробегает мимо, задевая меня локтем по спине. Не специально — просто торопится, не смотрит, куда бежит. Я чувствую короткий удар между лопаток, потом виноватое «ой, прости» на бегу, потом звук удаляющихся шагов. Я ничего не отвечаю, даже не шевелюсь. Потому что отвечать — значит вступать в контакт, а контакт — это риск, что тебя заметят, запомнят, начнут с тобой здороваться и ждать от тебя слов. А слов у меня нет или они есть, но я не умею их говорить, потому что каждое слово кажется слишком цветным, слишком живым, слишком опасным для того серого мира, который я выстроил вокруг себя.

Два парня останавливаются неподалёку — я слышу их голоса, но не поворачиваюсь, чтобы увидеть лица. Они обсуждают что-то про игру, про новый уровень, про то, как они про-

шли его вчера ночью, когда никто не спал. Их голоса звучат ровно, без эмоций, но я знаю, что на самом деле они увлечены, просто я не умею больше различать интонации.

Потом они уходят. Их сменяют другие голоса, другие шаги, другие короткие фрагменты разговоров, которые я не запоминаю, потому что они не имеют ко мне никакого отношения. Я здесь чужой, лишний, случайно забежавший не в ту дверь.

Иногда я задаю себе вопрос — зачем я вообще пришёл сюда, в этот университет, если мог бы остаться дома, в своей комнате, где стены тоже серые, но зато никто не задевает тебя локтем и не обсуждает за спиной? Я не знаю ответа. Может быть, потому что дома слишком тихо, и эта тишина давит сильнее, чем чужие голоса. Может быть, потому что надежда — дурацкая, неистребимая надежда — всё ещё теплится где-то глубоко внутри, и она заставляет меня выходить из дома, садиться в автобус, заходить в это здание, сидеть на лекциях и стоять у этого окна, чтобы однажды... что?

Я не додумываю эту мысль.

Я всегда обрываю её на полуслове, потому что знаю: если я её додумаю, мне придётся признать, что я всё ещё жду. Жду, когда мир снова станет цветным. Жду, когда краски вернутся. Жду, когда я перестану быть серым и пустым и снова смогу смотреть на небо и видеть не серую плоскость, а что-то другое — то, чего я уже почти не помню.

Но этого не случится. Я знаю. И всё равно жду. Кто же был тот мальчик из моего сна? Почему каждый раз я не могу вспомнить имя, хоть произношу его во сне... Я считал его другом? Тогда почему я больше не видел его. Может мне просто мерещится... Я не могу вспомнить тот период полноценно.

Звонок на вторую пару разрывает коридорный гул, и всё начинает двигаться быстрее, целенаправленнее, потому что теперь у каждого есть место, куда нужно успеть. Я отгалкиваюсь от подоконника, поправляю лямку рюкзака и медленно, не торопясь, иду в противоположную сторону от основного потока. Мне некуда спешить. Моя аудитория — в конце коридора, там, где почти никого нет.

Я иду один. Как всегда.

Мимо меня пробегают люди — я не смотрю на их лица, только на серые силуэты, которые мелькают слева и справа, как тени в ускоренном кино. Кто-то смеётся, кто-то ругается, кто-то говорит по телефону, прижимая его к уху плечом, потому что руки заняты сумками. Я прохожу сквозь этот шум, как игла сквозь ткань — не цепляясь, не оставляя следа, не нарушая общего движения.

И мне кажется, что никто даже не замечает, что я прошёл. И это самое правильное.

Я сворачиваю в почти пустой коридор, где только одна дверь в конце, и на секунду останавливаюсь перед ней, чтобы перевести дыхание. Здесь ещё тише, чем у окна. Здесь только я и серые стены. И ещё та странная, глупая надежда, которая никак не хочет умирать, даже после всего, что было.

Я открываю дверь и захожу внутрь.

Вторая пара начинается.

Глава 2

ДЛЯ ЧЕГО ВЫ МНЕ?

Остаток учебного дня тянется как жвачка — липко, медленно, без вкуса и цвета.

Вторая пара, третья, потом ещё какая-то лекция, которую я пропускаю мимо ушей, потому что преподаватель говорит слишком быстро, а я слишком устал, чтобы разбирать его слова. Я сижу на последнем ряду, смотрю в окно на серое небо и считаю минуты до звонка. Иногда кто-то оглядывается на меня — я чувствую эти взгляды, короткие, колючие, — но не поднимаю головы, чтобы не встречаться с ними глазами. Пусть смотрят.

Когда последняя пара заканчивается, выход из университета — всегда испытание. Не потому, что там кто-то ждёт или что-то угрожает. Просто там слишком много людей, и все они движутся в одном направлении, и этот поток подхватывает тебя, несёт, толкает, заставляет идти быстрее или медленнее, чем тебе удобно. Я ненавижу это чувство — когда ты не контролируешь своё тело, когда оно движется в такт чужому движению, когда ты просто щепка в мутной, серой реке.

Но выбора нет.

Я спускаюсь по лестнице, толкая тяжёлую металлическую дверь плечом, и оказываюсь на улице. Свежий воздух бьёт в лицо — прохладный, осенний, с запахом мокрых листьев и бензина. Я делаю короткий вдох и вливаюсь в общий поток. Студенты текут в сторону метро и автобусных остановок, разбиваясь на ручейки, перестраиваясь, обгоняя друг друга. Кто-то идёт быстро, почти бежит, кто-то еле плетётся, уткнувшись в телефон. Я не смотрю на них — я смотрю под ноги, на серый асфальт, на свою тень, которая ползёт рядом, такая же бесцветная, как и всё вокруг.

Я уже почти дошёл до угла, когда это случилось: чужое плечо врезалось в моё с левой стороны — жёстко, небрежно, как будто тот, кто бежал, даже не пытался затормозить, и меня слегка развернуло, так что я потерял направление и на секунду перестал понимать, где верх, где низ и где та серая линия горизонта, которую привык держать перед глазами.

Я не успел увидеть лицо, не успел понять, кто это был, потому что в тот же миг глаза озарило светом — не тем постепенным, утренним, который пробивается сквозь шторы, а чем-то резким, взрывным, будто внутри черепа включили прожектор. Я перестал видеть что-либо, только белую выжженную пустоту, которая растекалась передо мной, как чернила по мокрой бумаге.

«Чёрт, не упасть бы...»

Я сделал шаг назад, потом ещё один и наконец наткнулся спиной на что-то твёрдое и холодное. Скорее всего это была стена. Прижавшись к ней, как к единственной опоре в мире, которая вдруг перестала существовать, я попытался восстановить дыхание, но было тяжело: воздух не шёл в лёгкие, будто кто-то затянул ремень на моей грудной клетке и не собирался ослаблять, и я хватал ртом пустоту.

Я пытаюсь открыть глаза, но веки дрожали и сжимались сильнее, будто боялись того, что могут увидеть, и тогда пришли слёзы от перенапряжения, от страха, от того, что я не контролирую собственное тело. Слёзы текли по щекам, горячие и глупые, и сквозь них — я не верил своим глазам — мир начал проступать иначе, не тот серый, плоский, безопасный мир, к которому я привык, а другой, живой: сначала размытое жёлтое пятно, потом синий — глубокий, почти чёрный, как тот, который я когда-то создал на своей палитре и похоронил вместе с ней.

«Это ещё что за...»

Эти цвета мелькнули где-то сбоку, продержались секунду, может быть, две, и я видел их по-настоящему, отчётливо, и мир на одно мгновение стал цветным.

А потом всё погасло: свет исчез, цвета растаяли, слёзы высохли на ветру, оставив на щеках солёный липкий след, и я наконец смог открыть глаза.

Вокруг была серая толпа, люди шли мимо, кто-то смотрел на меня мельком, кто-то не замечал вообще, но никто не останавливался, и того, кто в меня врезался, нигде не было видно — он исчез, растворился, как будто его никогда и не существовало. Я всё ещё стоял, прижавшись спиной к стене, пытаюсь отдышаться и унять дрожь в груди, и под рёбрами снова поднималась та глупая, не живучая надежда, которая шептала, что, может быть, мне всё это показалось.

Но внутри всё дрожало, и я знал: не показалось.

Дом встретил меня запахом жареного лука и тишиной, которая только делала громче мои шаги в прихожей. Я стянул кроссовки, даже не развязав шнурки, и повесил рюкзак на крючок, промахнувшись мимо него дважды, потому что руки всё ещё дрожали после той вспышки на улице.

Мать выглянула из кухни, вытирая руки о полотенце, и я сразу увидел, как меняется её лицо. Когда она замечает меня, у нее сначала обычное, равнодушное, потом встревоженное, но не той тревогой, которая рождается из любви, а скорее из привычки проверять, всё ли в порядке с имуществом.

— Что у тебя с лицом? — спросила она, и голос у неё был ровный, совершенно не заинтересованный.

— Всё нормально, просто день был тяжёлым.

— Кстати, как он прошёл? — она вернулась к плите, помешивая что-то в кастрюле, и я понял, что её интерес уже иссяк, что вопрос задан скорее по инерции, чем из желания услышать ответ.

— Хорошо.

Она помолчала, потом спросила, не глядя на меня:

— Нашёл кого-нибудь? Может, обзавёлся друзьями или знакомыми новыми?

Я услышал, как в зале зашуршал диван — отец переложил пульт из одной руки в другую, и я понял, что он тоже слушает, хотя делает вид, что смотрит телевизор.

— Нет, — ответил я и не добавил ничего больше, потому что что тут добавишь? Что я весь день просидел на последнем ряду, глядя в серое окно? Что кто-то врезался в меня на улице, а потом я стоял у стены и плакал, потому что мир на секунду стал цветным?

Она вздохнула, не разочарованно даже, а скорее устало, как будто я подтвердил то, что она и так знала, и не ждала другого.

Тут из зала донёсся голос отца — грубый, с хрипотцой, потому что он всегда говорит так, когда обращается не к телевизору, а к живым людям:

— Дорогая, оставь его. Кто заинтересуется таким, как он? На него без слёз-то не взглянешь.

Он не повышал голос. Он сказал это буднично, как констатацию факта: снег белый, трава зелёная, а наш сын — никто.

И тут во мне что-то щёлкнуло. Не так, как сегодня на улице — не ослепительно, не больно, а тихо, мерзко, как ломается спичка, на которую слишком сильно надавили при попытке зажечь.

— Я виноват? — задал я вопрос в пустоту.

Голос прозвучал ровно, но я почувствовал, как дрожит гортань, как воздух выходит толчками, будто я не говорю, а выплёвываю слова.

Мать замерла у плиты, не поворачиваясь ни ко мне, ни к отцу.

— Я не виноват, что вы не поняли меня. Что я был для вас лишним. Что вы откинули меня, как ненужную вещь, как только я перестал быть удобным. Когда я просил вашей поддержки, где она была? Где были вы в эти моменты, когда я нуждался в вас, как в друзьях?

В зале стало тихо. Даже телевизор, казалось, притих.

— Вы даже не заметили, когда я перестал видеть цвет, — продолжил я, и каждое слово давалось тяжелее предыдущего, будто я тащил их со дна бездны. — Вы не заметили, когда я перестал выходить из комнаты. Вы не заметили, когда я перестал есть. А теперь спрашиваете, нашёл ли я друзей. Каких друзей? Кто захочет быть рядом с тем, кого собственные родители не замечают?

Я перевёл дыхание и посмотрел прямо на отца, хотя он по-прежнему не поворачивался.

— А ты, — сказал я уже отцу — Ты всегда знал, что я не такой, как ты хотел. Слабый. Чувствительный. Рисую. Мальчик, который смешивает краски вместо того, чтобы играть в

футбол. Ты никогда не говорил это вслух, но я видел твоё лицо. Каждый раз, когда ты смотрел на меня, как будто я был бракованной вещью, которую нельзя вернуть в магазин.

Отец молчал. Телевизор тем временем что-то бубнил про политику, и этот ровный, безликий шум только подчёркивал тяжесть в комнате.

— А когда я перестал видеть цвет, ты обрадовался, — сказал я тише, потому что горло снова начало сжиматься. — Потому что я наконец перестал быть тем, кого ты стыдился. Я стал серым. Ты получил то, что хотел — сына, который не выделяется, не рисует, не смешивает краски. Который просто сидит и молчит. Удобная вещь.

Мать стояла у плиты, не оборачиваясь, но я видел, как её плечи напряжены до предела, как она сжимает полотенце в руках. Она всегда так делала, когда между нами начиналось что-то невыносимое — замирала и ждала, пока всё само рассосётся. Она никогда не вставала ни на чью сторону. Может быть, потому что боялась. А может быть, потому что ей было всё равно. Она явно не хочет ни в чём марать руки. Особенно если это относится как-либо ко мне.

— Ты тоже, — сказал я ей, и голос дрогнул. — Ты никогда не заступалась. Никогда. Ты просто молчала и делала вид, что ничего не происходит.

Мать наконец повернулась от плиты, и я увидел её лицо — уставшее, с мелкими морщинами вокруг губ, которые стали глубже за последние годы. Она сжимала полотенце так, что костяшки пальцев побелели.

— Ради тебя, — сказала она тихо, но в этой тишине было что-то тяжёлое, почти угрожающее. — Всё, что мы делали, мы делали ради тебя. Ты думаешь, легко было? Ты думаешь, я не замечала, что с тобой что-то происходит? Я замечала. Но я не знала, что делать. Ты никогда не говорил. Ты закрылся, и мы не могли к тебе пробиться.

— Вы не пытались, — ответил я, и голос у меня сел, потому что каждое слово приходилось вытягивать из себя, как нитку из старой раны. — Вы просто ждали, что я сам вылезу из своей норы. А когда не вылез — вы привыкли. Вам стало удобно, что я молчу, что не мешаю, что не прошу ничего.

Она покачала головой, и в этом жесте было столько усталости, столько лет непрожитой жизни, что мне на секунду стало почти жаль её.

— Ты неблагодарный, — сказала она, и голос дрогнул. — Мы кормили тебя, одевали, платили за университет. Что тебе ещё надо? Мы не били тебя, не выгоняли на улицу. А ты стоишь тут и говоришь, что мы тебя откинули.

— Кормили? Одевали? Не выгоняли? Разве это не то, что должны делать все родители? Это не мои просьбы, это ваши обязанности. Вы выбрали меня родить, а не я вас. И вы сделали ровно тот минимум, который не даст вам стыдливо смотреть соседям в глаза. Но вы ни разу не спросили, что мне на самом деле нужно.

Мать замерла с полотенцем в руках. Она смотрела на меня, и в её глазах я видел что-то, чего раньше не замечал — не злость, не обиду, а что-то похожее на испуг. Будто она впервые

поняла, что я не просто «трудный подросток», у которого пройдёт, а кто-то, кто действительно умеет думать и чувствовать, и у кого есть на это право.

— Что ты сейчас хочешь от нас? — тихо спросила она, и в этом вопросе не было насмешки, но и тепла тоже не было.

— Чтобы вы заметили меня, — сказал я. — Не того, кого вы придумали, не того, кем вам было бы удобно меня видеть. А просто меня. Вот такого. Никуда не годного. Серого. Сломанного настолько, что я даже цвета больше не вижу.

Я замолчал на секунду, потому что говорить об этом вслух было почти физически больно, но я уже не мог остановиться.

— Чтобы вы спросили не «какую оценку получил», а «как ты вообще». Не «завёл ли друзей», а «нужны ли они тебе». Чтобы вы иногда просто сидели рядом, ничего не требуя, не пытаясь меня починить. А не уходили в свою комнату и не оставляли меня одного, потому что вам так спокойнее.

Мать смотрела на меня, и её лицо медленно менялось — будто до неё наконец начинало доходить, что я не капризничаю, а говорю о том, что грызло меня годами.

— Но вы не умеете, — добавил я тише, почти устало. — Вы просто не знаете, как по-другому. И уже вряд ли узнаете. Даже я вас пытаюсь понять с отцом, а вы меня нет.

В комнате повисла тишина, такая плотная, что было слышно, как на кухне тикают часы, и этот звук казался насмешкой — равномерной, бездушной, вечной.

Мать стояла, не зная, что ответить. Отец молчал в зале, и его молчание было тяжелее любых слов.

Я развернулся и пошёл к себе, не дожидаясь, когда кто-то из них решит прервать эту тишину.

Дверь моей комнаты оказалась передо мной внезапно, будто выросла из стены. Я толкнул её сильнее, чем нужно, и она ударилась о стену с таким грохотом, что где-то на кухне звякнула посуда — но я не остановился. Я шагнул внутрь, развернулся и с силой захлопнул дверь за собой, так, что задрожала ручка и жалобно звякнул замок.

Я прислонился спиной к двери и медленно сполз по ней вниз, пока не сел на пол, прижав колени к груди. Комната была серая, привычная, безопасная — те же стены, тот же стол, то же перо на подоконнике, которое я так и не убрал. Но сейчас она давила на меня, будто стены стали толще, а воздух гуще, и дышать было почти так же тяжело, как там, на улице, после вспышки.

Я сидел и смотрел в одну точку на противоположной стене — там, где обои разошлись тонкой трещиной, похожей на молнию. Я не думал ни о чём конкретном, просто ждал, когда утихнет дрожь в руках и перестанет колотиться сердце.

Внутри поднималось что-то тёплое, липкое, чужое — то, чего я не чувствовал так давно, что почти забыл, как оно называется. Я пытался задавить его, как делал всегда, но оно не слушалось. Оно росло, заполняло грудную клетку, поднималось к горлу, и я понял, что не могу его остановить.

Эта злость не была похожа на ту тупую, серую апатию, с которой я привык просыпаться и засыпать — она оказалась острой, горячей, почти осязаемой, и она требовала выхода, не спрашивая моего разрешения.

Я сжал кулаки так сильно, что ногти впились в ладони, оставляя на коже полумесяцы, а потом прошептал в пустоту комнаты, в серую тишину, которая давила на уши: «Почему вы не можете просто быть нормальными?»

Голос дрожал, но в этой дрожи не было слабости — в ней было то, чего я лишал себя годами, потому что считал это ненужным, опасным, разрушительным, а именно: право чувствовать, право злиться, право требовать, чтобы меня хотя бы попытались понять, даже если из этого ничего не выйдет.

И только тогда, когда слова растворились в воздухе, а кулаки начали медленно разжиматься, я осознал, что это первое живое чувство за долгое время — не пустота, не отстранение, не та серая, ровная линия ничего, которая тянулась между мной и миром, а злость, горячая, несправедливая, запоздалая, но настоящая, и от этого осознания у меня перехватило дыхание.

Я откинул голову назад, прислонившись затылком к холодной двери, и закрыл глаза, чувствуя, как под веками всё ещё пульсирует тот самый свет, который ослепил меня сегодня на улице, когда чужое плечо врезалось в моё, когда мир на секунду стал цветным, а потом снова погас.

«А что, если это связано?» — подумал я, и от этой мысли внутри всё сжалось, потому что если связаны, значит цвет возвращается не сам по себе, не как подарок, не как исцеление, а вместе с болью, вместе с этими дурацкими семейными сценами, вместе со злостью, которую я так долго хоронил, потому что боялся, что она меня разрушит.

«Вспышка на улице — и вот я сижу на полу собственной комнаты и впервые за годы чувствую что-то, кроме пустоты.»

Я провёл ладонью по лицу, нащупывая привычную красноту под глазами, и попытался вспомнить, что было в тот момент, когда свет ударил меня — может быть, там, в той ослепительной белизне, проступило что-то ещё, какой-то оттенок, какое-то ощущение, которое я пропустил, потому что испугался. Но память не возвращала ничего, кроме страха, растерянности и того короткого, почти неуловимого синего, который мелькнул перед глазами, когда слёзы уже начали высыхать.

Я открыл глаза и посмотрел на серую стену, на трещину, на перо, и впервые за долгое время мне показалось, что стена стала чуть светлее — или это просто глаза привыкли к темноте?

Глава 3

Что она увидела?

Я проспал.

Это осознание пришло не постепенно, а одним ударом — когда я открываю глаза и вижу за окном уже не серое предрассветное марево, а вполне себе наглый, уверенный серый свет, который бывает только тогда, когда ты уже должен быть в аудитории.

В голове пустота и звон. Телефон на тумбочке показывает время, и я не верю своим глазам, потому что такого просто не может быть. Я всегда встаю вовремя. Я всегда прихожу первым. Я никогда не опаздываю, потому что опоздания — это внимание, а внимание — это взгляды, а взгляды — это то, чего я избегаю любой ценой.

— Это какая-то шутка?

Я срываюсь с кровати, даже не умываясь, натягиваю первую попавшуюся черную водолазку с рубашкой, хватаю рюкзак и вылетаю из комнаты. В коридоре никого — может быть, родители уже ушли или же им просто всё равно. Я не останавливаюсь, чтобы подумать об этом.

Улица встречает меня ветром и серым небом. Я бегу. Бегу со всех ног, как будто за мной гонится кто-то. В рюкзаке что-то гремит, лёгкие горят, но я не сбавляю темп, потому что знаю: каждая секунда приближает меня к тому моменту, когда я открою дверь аудитории, и все головы повернутся в мою сторону. Я не хочу быть на виду. Я не хочу, чтобы меня замечали. Хочу быть серой тенью, которая проскальзывает на последний ряд и растворяется там до конца пары.

Я бегу по серому тротуару, перескакивая через лужи, обходя редких прохожих, и на повороте, где дорогу преграждает мусорный бак, я слишком поздно замечаю парня — он выходит из-за угла с телефоном в руках, смотрит в экран, не поднимает головы. Я пытаюсь увернуться, но не успеваю. Я влетаю в него — всем телом, с разбега, так, что дыхание перехватывает и мир на секунду теряет очертания.

Мои ноги скользят по мокрому асфальту, меня заваливает в сторону, и я уже готовлюсь встретиться с землёй, почувствовать боль в коленях и стыд, который будет жечь сильнее любой ссадины. Но вместо этого чьи-то руки хватают меня за плечи — крепко, почти грубо, — и не дают упасть. Я ощущаю чужое тепло через ткань рубашки, слышу сбитое дыхание — его, не своё, — и на секунду замираю, не понимая, что происходит.

— Эй, ты в порядке? — голос звучит встревоженно, но без злости, без той агрессии, которой я ждал.

Я поднимаю глаза. Парень — обычный, серый, как все, — смотрит на меня с таким искренним беспокойством, что мне становится не по себе.

— Ты как? Сильно ударился? — спрашивает он. — И куда ты так несёшься?

Я не могу ответить. У меня нет слов. И нет времени. Я просто киваю — один раз, резко, — выворачиваюсь из его рук и бегу дальше, не оглядываясь, чувствуя, как его взгляд сверлит спину, как внутри поднимается очередная капля вины, которую я не могу сейчас разбирать, потому что если остановлюсь — рассыплюсь.

Я влетаю в университетскую дверь, пробегаю коридор, взлетаю по лестнице и останавливаюсь перед дверью аудитории, пытаясь отдышаться. Сердце колотится где-то в горле. Я толкаю дверь.

И замираю.

У доски стоит преподаватель. Рядом с ним — девушка. Я не вижу её лица, потому что она стоит ко мне вполоборота, и я сразу отвожу взгляд — не потому, что не хочу смотреть, а потому, что привык не смотреть на людей, чтобы не привлекать внимания.

В аудитории тихо. Слишком тихо. Все смотрят на меня. Все. И преподаватель, и те, кто сидит на первых рядах, и те, кто, как я обычно, прячется в конце.

И вдруг девушка поворачивается.

Я не сразу понимаю, что она смотрит на меня — может быть, потому что я не привык к вниманию, а может, в её движении было что-то резкое, почти испуганное, словно она услышала неожиданный звук и инстинктивно обернулась на него, как зверь, почуявший опасность.

Она разворачивается всем телом — будто её дёрнули изнутри. Тёмные короткие волосы взлетают и тут же опадают. Чёрный плащ на плечах сдвигается, обнажая рубашку и галстук — строгие, почти официальные, совсем не студенческие. Сумка описывает дугу в воздухе.

На секунду мне кажется, она сейчас заговорит — спросит, окликнет, — но она молчит. Только смотрит.

На ней круглые чёрные очки. Сначала я вижу только их — два тёмных стекла, в которых отражается серый свет аудитории. Но потом она чуть наклоняет голову, и я замечаю: очки не прячут взгляд. Они делают его острее.

В нём — удивление. Не вежливое, каким встречают незнакомцев, чтобы сразу забыть. Настоящее. Глубокое. Такое, какое бывает, когда видишь не то, что ожидал. Когда реальность на секунду перестаёт подчиняться правилам.

Она смотрит так, будто увидела привидение — не страшное, а невозможное. Или словно узнала меня. Хотя мы точно не знакомы. Её взгляд застревает на моём лице — не скользит, не пробегает, как у других, а цепляется, будто что-то мешает ему оторваться. Я чувствую его как прикосновение, как чужую руку, от которой не хочется отстраняться.

Сколько это длится? Секунду? Вечность? Сердце пропускает удар, а потом нагоняет с такой силой, что кровь стучит в висках.

Она моргает первой, просто отводит глаза, поправляя очки. Затем разворачивается обратно к преподавателю. Плащ замирает на плечах.

Преподаватель смотрит на меня крайне неодобрительно. Только сейчас я заметил его взгляд.

— Вейн, — голос преподавателя звучит ровно, но в нём сквозит то самое холодное терпение, которое обычно предвещает неприятности. — Причина опоздания?

— Пробки, — выдавливаю я наконец. Слово звучит глупо даже для меня самого.

Преподаватель задерживает взгляд ещё на секунду, потом кивает — не принимая ответ, а просто не желая тратить время.

— Садитесь.

Я прохожу к последнему ряду, чувствуя на себе взгляды. Кто-то уже отвернулся, потеряв интерес, кто-то продолжает провожать меня глазами — любопытными, осуждающими, равнодушными. Я не разбираю. Я просто иду вперёд, глядя в пол, стараясь не задеть ничьи сумки.

Рюкзак падает на пол. Я сажусь на своё место — у окна, где всегда пусто, где меня никто не видит и не трогает. Поправляю край парты, выдыхаю. Взгляды рассеиваются. Аудитория снова живёт своей привычной жизнью.

— Это Юта Артери, — говорит преподаватель, кивая в сторону девушки. — Она присоединяется к нашей группе с опозданием. Прошу любить и жаловать.

Кто-то хлопает пару раз — из вежливости. Кто-то перешёптывается, косясь на новенькую. Она стоит у доски неподвижно, опустив голову, и я почти не вижу её лица под чёлкой и круглыми стёклами очков. Только тёмный силуэт на фоне серой доски.

Потом она делает шаг. Второй. Идёт вдоль рядов, не глядя по сторонам. Чёрный плащ почти не шевелится, галстук неподвижен. Она производит минимум шума, но всё равно кажется, что каждый её шаг отдаётся в тишине — потому что многие всё ещё следят за ней. Я тоже. Не хочу, но не могу отвести взгляд.

Она проходит мимо первого ряда, второго, третьего. Я жду, что она повернёт ко мне, но она идёт дальше. Останавливается через ряд от меня — там, где тоже пусто. Достаточно близко, чтобы я чувствовал её присутствие, но достаточно далеко, чтобы между нами оставалось пространство.

Плащ бесшумно ложится на спинку стула. Она ставит сумку на пол, поправляет очки и достаёт тетрадь. Я не смотрю на неё. Смотрю в окно, на серое небо, на серые дома, на серую жизнь, которая течёт за стеклом.

Но я чувствую её взгляд.

Юта смотрит на меня. Не постоянно, не откровенно — краем глаза, короткими вспышками, когда думает, что я не вижу. Я не поднимаю головы, но боковым зрением замечаю, как

она поворачивается, замирает, изучает. В её взгляде — подозрение. Не то злое, не то враждебное. Скорее настороженное, как у зверька, который не знает, опасен ли этот человек, и пока не собирается проверять.

Лекция идёт своим чередом. Преподаватель что-то пишет на доске, кто-то перешёптывается, кто-то стучит по экрану телефона. Я пытаюсь слушать, но не могу сосредоточиться, потому что чувствую её взгляд. Каждый раз, когда я думаю, что она отвлеклась, Юта снова смотрит.

«Да что ты пристала ко мне одному, в аудитории полно других людей» — с каждой минутой мне становилось тяжелее делать вид, что я не вижу ее взглядов.

Может быть, ей просто скучно, или она проверяет, кто здесь самый странный, чтобы потом избегать. Я не знаю. Я не умею читать людей.

За пару наши взгляды встретились единожды — случайно, нечаянно, я просто поднял голову слишком резко, а она как раз смотрела. Я не успел отвернуться. Она — тоже. На секунду мы застыли, и я снова увидел в её глазах то самое удивление, которое мелькнуло в начале пары.

Потом она первая отвела взгляд. Отвернулась к доске, поправила очки и больше не смотрела на меня до самого звонка.

А я сидел и думал: что это было?

Глава 4

Это шутка такая?

Пара закончилась, и аудитория мгновенно ожила — заскрипели стулья, зашуршали сумки, зазвучали голоса, которые ещё минуту назад были приглушены лекцией. Я остался сидеть, дожидаясь, пока схлынет поток, потому что не люблю толкаться в проходах, чувствовать чужие локти и слышать раздражённые вздохи тех, кому я мешаю.

К Юте подошли сразу две девушки с первых рядов, потом парень, потом ещё одна девушка. Они обступили её полукругом, что-то спрашивали, перебивали друг друга, смеялись. Она отвечала односложно, не глядя на них, но они не отставали. Я не слушал, о чём они говорят, но краем глаза видел: она держится отстранённо, будто не здесь, словно разговаривает с ними через стекло.

«Возможно она, как и я, испытывает трудности в общении. Впрочем, скоро она вольется в университетскую жизнь и станет одной из многих.»

Я поднялся, поправил лямку рюкзака и вышел, стараясь не стучать ногами.

Библиотека встретила меня тишиной — той особенной, которая бывает только в старых зданиях, где воздух тяжёлый от бумажной пыли, а свет падает на пол длинными серыми прямоугольниками из высоких окон. Я пошёл вдоль стеллажей, водя пальцами по корешкам книг, ища ту, которую преподаватель называл в начале пары. Название вылетело из головы, но я помнил, как выглядит обложка: серая, с тёмным пятном посередине — как отпечаток грязной ладони на бетоне.

Я уже почти нашёл её, когда услышал шаги — лёгкие, почти неслышные, но в этой тишине они отдавались эхом.

«Обычно в библиотеке не так много людей...»

Заметив, что кто-то смотрит на меня, я резко обернулся. Юта стояла в нескольких шагах от меня, прислонившись плечом к стеллажу. Одна. Без сумки, без компании, без той отстранённой маски, которая была на лекции. В полумраке библиотеки её тёмные круглые очки казались двумя чёрными безднами, и я не мог понять, куда она смотрит — на меня или сквозь меня.

— Ты что-то потерял? — спросила она. Голос тихий, без намёка на насмешку, но в нём чувствовалось что-то ещё — любопытство, смешанное с осторожностью.

Я не знал, что ответить. Слова застряли где-то в горле, и я просто стоял, чувствуя, как бумажная пыль оседает на язык.

— Книгу, — выдавил я наконец.

— Какую?

— Не помню.

Она чуть склонила голову набок, изучая меня. В этом движении было что-то птичье — настороженное, но не пугливое, скорее оценивающее. Я почувствовал себя насекомым под стеклом.

— Преподаватель просил найти «Основы социально-психологической теории».

Я удивился. Откуда она знает? Мы были на одной лекции, да, но я не помнил, чтобы преподаватель называл книгу при всех. Может быть, я пропустил? Или она спросила у кого-то после пары?

Она не стала ждать, пока я переварю эту информацию. Вместо этого шагнула к стеллажу слева от меня — туда, где я ещё не смотрел, — и через несколько секунд вытащила толстый том в серой обложке. Без колебаний. Будто знала, где он лежит.

— Эта? — спросила она, протягивая книгу.

Я взял. Та самая. Серая обложка, тёмное пятно посередине.

— Да, — сказал я. — Спасибо.

Она не ответила. Просто стояла, смотрела — не на книгу, на меня. Я чувствовал её взгляд даже через тёмные стёкла очков. Он не был тяжёлым, но он был настойчивым, как будто она ждала чего-то ещё.

Я немного помялся и медленно развернулся к выходу. Я сделал шаг, потом другой. Медленно, будто не хотел уходить, но и не видел причин оставаться. Книга была в руках — та, за которой я пришёл. Разговор — если это можно было назвать разговором — закончился. Я мог идти.

«Она странная... Но я не чувствую в ней ничего плохо...»

Эта мысль пришла сама собой. Обычно я избегаю людей не потому, что они плохие, а потому, что они — просто чужие. Их присутствие требует слов, жестов, эмоций, которых у меня нет или которые я давно разучился проявлять. Но в ней не было этого давящего ожидания. Она не требовала, чтобы я улыбался, не ждала, что я поддержу разговор. Она просто смотрела и задавала вопросы, на которые можно было не отвечать. Я остановился у выхода из библиотеки, прижав книгу к груди.

«Странная... Не нужно со мной пытаться подружиться, если ты этого хочешь.»

Я почти произнёс это вслух, но вовремя сжал губы. Глупо было бы говорить это в дверь или ей, если она вдруг пошла за мной следом. Я не обернулся, чтобы проверить. Не хотел знать.

Я толкнул дверь и вышел в коридор.

Я вошёл в аудиторию, когда до начала пары оставалось ещё несколько минут. Свободных мест было много, но я всё равно сел на своё — у окна, на последнем ряду, где меня никто не видел и не трогал. Книгу положил на парту, даже не открывая. Смысла не было — я всё равно не мог сосредоточиться.

Через несколько минут дверь открылась, и в аудиторию вошла Юта.

Она не смотрела по сторонам. Не искала меня взглядом. Просто прошла к своему месту — через ряд от меня, — села, достала тетрадь, поправила очки. Всё так же спокойно, бесшумно, будто её здесь не было. Я ждал, что она снова начнёт смотреть. Украдкой, краем глаза, как на прошлой лекции. Но нет. Она даже не поворачивала голову в мою сторону. Смотрела в доску, иногда что-то записывала, иногда просто сидела неподвижно. Её профиль казался отстранённым, почти каменным. Я поймал себя на мысли, что сам теперь смотрю на неё. Словно пытаюсь поймать тот самый взгляд, который раньше мешал дышать.

«Что же у тебя на уме?»

Я не знал, зачем задаю себе этот вопрос. Она всё равно не ответит. Да и зачем мне знать? Она — никто. Просто новенькая. Через неделю я забуду, как её зовут, как она смотрит, как поправляет очки. Через месяц она станет такой же серой тенью, как и все остальные.

Я отвернулся к окну и уставился в серое небо. Оно было пустым, ровным, безопасным.

Пара прошла спокойно. Преподаватель что-то рассказывал про классификацию личностей, кто-то отвечал, кто-то перешёптывался. Я не слушал. Я смотрел в окно на серое небо и пытался убедить себя, что ничего не произошло.

Прозвенел звонок, и аудитория ожила. Юта поднялась первой. Быстро, бесшумно, не глядя по сторонам. Её плащ мелькнул в дверях, и она исчезла, даже не обернувшись. Я проводил её взглядом — против воли, наверное, потому что надеялся, что она хотя бы посмотрит в мою сторону, но нет.

«Что? Зачем я жду. Боже.»

Мысль обожгла — глупая, липкая, неловкая. Я не должен ждать, чтобы кто-то на меня смотрел. Я не должен хотеть, чтобы кто-то на меня смотрел. Всё, чего я хочу — это быть невидимым. Быть серой тенью.

Я тряхнул головой, поправил лямку рюкзака и почти уже вышел в коридор, когда в дверном проёме с кем-то столкнулся — не плечом, а всем телом, так, что дыхание перехватило, а сумка съехала набок.

Передо мной стоял тот самый парень с улицы. Тот, в кого я врезался утром.

«Это шутка такая?»

Он стоял, перекрывая выход, и смотрел на меня так, будто я был чем-то, что он случайно раздавил ногой и теперь рассматривает — стоит ли вытирать подошву.

— А, это ты, — сказал он без злости, просто констатируя факт. — В прошлый раз ты даже не извинился.

«Точно. Я же сразу сбежал...»

— Извини, — сказал я, чувствуя себя неловко. — Я правда спешил. Не хотел тебя задеть.

— Да ладно, бывает, — сказал он уже спокойнее. — Только смотри в следующий раз по сторонам.

Он хлопнул меня по плечу — не больно, скорее по-приятельски и прошел вглубь аудитории. Я не стал разворачиваться, поэтому просто покинул это место встреч.

Глава 5

Я не вижу твой цвет

Я вышел из университета, когда солнце уже клонилось к серым крышам, и тени стали длинными, как чужие пальцы, тянущиеся по асфальту. Воздух был холодным, прозрачным, почти стеклянным, и каждый вдох отдавался в груди резкой, неприятной свежестью. Я поправил лямку рюкзака — она вечно сползала с правого плеча, — и уже собрался повернуть к остановке, как вдруг заметил её.

Юта стояла в дальнем углу двора, у старого тополя. Плащ почти не шевелился, тёмные очки смотрели куда-то в сторону, но я почему-то был уверен — она видит меня. Даже не глядя.

«Снова ты...»

Ноги сделали шаг раньше, чем мозг успел вмешаться. Один маленький, почти незаметный шаг в её сторону. Будто внутри меня проснулось что-то, чего я боялся и ждал одновременно. Что-то глупое, тёплое, отчаянное.

«Что я делаю?»

Я одёрнул себя, как натягивают поводок — резко, почти жестоко. Развернулся и зашагал к остановке, чувствуя, как внутри поднимается мерзкое чувство трусости, смешанное с облегчением. Смесь такая знакомая, что я перестал её замечать. До сегодняшнего дня.

Сердце колотилось где-то в горле. Я не понимал, что происходит. Почему меня так тянет к ней? Почему одновременно хочется и подойти, и убежать? И почему ни одно из этих желаний не похоже на нормальное, человеческое?

Я прошел уже достаточно, когда краем глаза заметил: Юта тоже двинулась. Не ко мне — параллельно, держась на расстоянии, но явно в ту же сторону, что и я.

«Совпадение?»

Я свернул за угол, к проспекту, где всегда много машин и где можно затеряться в толпе. Она свернула следом, не ускоряясь, не замедляясь, держа дистанцию, как тень, которая не имеет своей воли, но почему-то выбрала именно меня.

Тогда я решил ускорить шаг. Она тоже ускорила, продолжая держать дистанцию.

Это не случайность и не совпадение. Она идёт за мной. Не догоняет, не окликает, не пытается привлечь внимание — просто держится на расстоянии, будто ждёт, когда я сам остановлюсь, обернусь, спрошу.

Я резко свернул в первый попавшийся двор — туда, где гаражи, где узкие проходы между домами, где можно запутать следы, где я сам себя терял в детстве, когда хотел спрятаться от всего мира. От родителей, которые не замечали. От одноклассников, которые смеялись. От её взгляда.

Я уже почти нырнул в арку, когда услышал шаги сзади — чужие, быстрые, решительные. Я не успел ни обернуться, ни ускориться, потому что в следующую секунду её пальцы сомкнулись на моём запястье. Так крепко, что на секунду показалось, что моя кость сейчас сломается.

И в тот же миг мир взорвался. Краски хлынули отовсюду — с неба, со стен, из щелей между гаражами. Жёлтый, синий, красный, зелёный — они смешивались, накладывались друг на друга, кричали, ослепляли. Я не видел лиц, не видел домов, не видел асфальта под ногами. Только цвет. Только боль. Только этот страшный, запретный, живой цвет, которого не должно было быть.

Я вырвал руку — резко, почти грубо, — и отшатнулся, вжимаясь спиной в холодную стену гаража. Пальцы горели огнём, в глазах всё ещё плыли разноцветные круги, сердце колотилось где-то в горле, мешая дышать.

— Что тебе нужно?! — сорвалось с губ криком, которого я сам от себя не ожидал. — Зачем ты за мной ходишь?! Что ты от меня хочешь?!

Голос дрожал, срывался, был чужим, грубым, почти звериным. Я не узнавал себя. Но не мог остановиться.

Она вздрогнула. На секунду — всего на одну короткую, едва уловимую секунду — её лицо потеряло свою обычную непроницаемость. Брови чуть приподнялись, губы приоткрылись, и в глазах мелькнуло что-то, похожее на испуг. Но она быстро взяла себя в руки, тряхнула головой, и маска вернулась на место.

— Ты... — начала она и замолчала, будто подбирая слова. Потом сделала короткий, почти незаметный вдох и спросила уже ровнее, хотя в голосе всё ещё чувствовалась лёгкая дрожь: — Ты не видишь цвета этого мира?

Я ждал чего угодно — оправданий, объяснений, даже молчания. Но не этого. Не прямого, спокойного, почти будничного «ты не видишь цвета». Словно она спрашивала, какой сегодня день недели или не забыл ли я выключить свет.

Я не знал, что ответить, откуда она узнала, как долго она знает, что ей вообще известно. Я просто смотрел на неё, не в силах вымолвить ни слова. В голове звенела пустота. Язык прилип к нёбу. Она выдержала паузу, потом отвела взгляд куда-то в сторону, на серую стену гаража, и сказала тихо, почти себе:

— Я не вижу твой цвет... Встречаю такое впервые и признаться честно, мне крайне неуютно от этого.

Я моргнул. Слова не сразу дошли до меня.

— Что? — выдохнул я.

— Я хотела бы тебе кое-что рассказать, — сказала она тише, почти шёпотом. — Но я не уверена, что это будет... адекватно. Моя особенность, — Юта сделала паузу, будто пробуя слово на вкус, — возможно, дала сбой. Или я схожу с ума. Или...

Она не договорила. Замялась, потупилась и замолчала, оставив фразу висеть в холодном воздухе между нами.

Я не знал, что на это ответить. Не знал, чего она хочет. Не знал, почему она вообще со мной говорит.

Внутри всё ещё пульсировал тот страшный, живой цвет, который вспыхнул, когда она коснулась меня. Но теперь он не кричал — он гудел где-то под рёбрами, как больной зуб, напоминая о себе каждым ударом сердца.

Я провёл пальцами по переносице — привычное движение, которое помогало собраться. Потом ещё раз. Только когда мир перестал плыть перед глазами, я поднял на неё уставший взгляд. Юта стояла в двух шагах, не приближаясь, не отступая. Её тёмные очки чуть блестели в тусклом свете, но я почти физически чувствовал, как за ними мечутся её глаза — голубые, растерянные, ждущие.

— Я не понимаю, — сказал я. Голос звучал устало, без прежней агрессии. — Ничего не понимаю.

— Я тоже, — ответила она просто.

Я смотрел на неё, и внутри медленно, очень медленно, утихало то странное, дикое чувство, которое поднялось, когда она схватила меня за руку. На его место приходила пустота. Знакомая, серая, безопасная.

Но теперь она ощущалась иначе.

Рядом с ней она не была безопасной.

Глава 6

Пустота

Вечер опускался на город медленно, как тягучая серая жидкость, заливающая улицы, дома и мысли. Я лежал на кровати, уставившись в потолок, и не мог оторвать взгляд от трещины, которая тянулась от люстры к углу комнаты, разветвляясь на мелкие паутинки. Я знал её каждый изгиб. Она была здесь всегда. Как и я.

В голове крутился тот разговор. Её голос, спокойный, почти безразличный, но с той едва заметной дрожью, которую я уловил в самом конце. Она сказала, что не видит моего цвета, что встречает такое впервые и ей крайне неуютно от этого. А потом моё растерянное «что?» и её тихое, почти обречённое «я тоже».

Я переворачивался с боку на бок, пытаюсь найти положение, в котором мысли перестанут давить, но простыня сбивалась под спиной, воздух становился тяжёлым и густым, будто стены сдвинулись ближе. Когда я закрывал глаза, под веками снова вспыхивали те краски — жёлтые, синие, красные. Они не уходили, они ждали. Они пульсировали где-то в глубине, напоминая, что цвет не исчез, он просто спрятался, а теперь, когда она коснулась меня, он снова проснулся.

Я сел, провёл ладонью по лицу, чувствуя под пальцами привычную красноту под глазами, ту самую, которую ненавидел, потому что она напоминала: цвет всё ещё может пробиваться через кожу, даже если мир вокруг серый и плоский.

Дышать стало тесно. Я встал, почти не отдавая себе отчёта, натянул первую попавшуюся толстовку, не взглянув в зеркало, прошёл мимо прихожей, где мать, кажется, что-то сказала, но я не услышал. Я уже стоял на улице, вдыхая холодный воздух, который должен был помочь, но не помогал. Тогда я побежал.

Не к остановке, не в сторону университета. Вверх, туда, где город заканчивался и начиналась пустота. К старому холму, на который я не поднимался несколько лет. В детстве я называл его «вершиной», хотя это был просто пологий склон, поросший кустарником. Но там, наверху, всегда было тихо, пусто и серо.

Я бежал, перепрыгивая через корни, скользя по мокрой траве, чувствуя, как в груди колотится что-то тяжёлое и тёплое. Это не было ни страхом, ни злостью, ни отчаянием. Просто слишком много всего, что не помещалось внутри.

Ноги сами вынесли меня на вершину, и я остановился, тяжело дыша, чувствуя, как воздух рвётся из лёгких хриплыми, неровными толчками, как сердце стучит где-то в горле, не желая успокаиваться. Вокруг было тихо и пусто. Даже ветер стих, будто тоже устал.

Я опустился на склон, не разбирая, сухая трава или мокрая, просто сел, обхватив колени руками, и уставился в серую даль, где город уже начинал зажигать редкие огни, тусклые, далёкие, почти неживые. А потом я откинулся назад и лёг на холодную землю, чувствуя, как её сырость просачивается сквозь толстовку, как мелкие камешки впиваются в спину, как ветер, наконец вернувшись, начинает гладить лицо, медленно, невесомо, будто пытается стереть с него всё, что я принёс с собой.

Я лежал, глядя в небо. Оно было серым, как всегда, но постепенно, незаметно, цвет начал меняться — темнеть, наливаясь глубиной, становиться почти чёрным, и я смотрел на это, не отрываясь, замороженный тем, как медленно исчезает свет, как мир погружается в себя, как краски уходят одна за другой, оставляя только небо и тишину.

А потом я заметил первую звезду. Она была крошечной, бледной, едва заметной, но она была. И я смотрел на неё, чувствуя, как внутри постепенно затихает то тяжёлое, горячее, что гнало меня сюда. Я не думал о ней, не думал о цвете. Я просто лежал на холодной земле, глядя в небо, и ждал, когда появятся следующие звёзды.

И они появлялись. Одна за другой, медленно, будто кто-то зажигал их по очереди. К тому моменту, когда небо стало совсем тёмным, их было уже много — мелких, холодных, далёких, но настоящих.

Я закрыл глаза, чувствуя, как холод от земли проникает в тело, как ветер касается век, как внутри, под рёбрами, тот самый цвет пульсирует уже тише, спокойнее, почти незаметно. Я не знал, сколько времени прошло. Может быть, час. Может быть, два. Я просто лежал и дышал. И впервые за долгое время мне не хотелось никуда бежать.

Когда звёзд стало достаточно много, чтобы я перестал их считать, я поднялся. Тело затекло от холода, толстовка промокла на спине, и каждый шаг отдавался лёгкой дрожью, которую я старался не замечать. Город внизу уже не выглядел серым — в темноте он казался почти чёрным, с редкими жёлтыми точками окон, разбросанными как попало, будто кто-то рассыпал горсть монет по бархатной ткани.

Я пошёл вниз, не торопясь, позволяя ногам самим находить дорогу. Спуск всегда казался легче подъёма — не нужно было бороться, не нужно было дышать с надрывом, просто двигаться вперёд, туда, где ждал привычный мир с его серыми улицами и серыми людьми.

Я уже почти вышел к освещённой дороге, когда услышал знакомые голоса. Однокурсницы шли навстречу, не видя меня в темноте, и продолжали тот же разговор, будто и не прерывались.

— ...я тебе говорю, она вообще какая-то странная. Кажется такой холодной, важной, а на деле, наверное, если припугнуть, сразу заплачет.

— А эти её очки? Как будто она звезда какая-то.

— А ещё мне показалось, что она строила глазки одному из парней с нашего курса. В первый же день и пытается добиться мужского внимания.

— Может, она просто хочет, чтобы её заметили? Вот и выделяется.

— Ну, если это попытка быть замеченной, то она жалкая.

— Может всё-таки припугнём? Ну так, разок, для профилактики?

Они прошли мимо, даже не взглянув на меня. А я шёл дальше, не замедляя шага, и ничего не чувствовал. Ни злости, ни желания остановиться и сказать что-то. Ни даже мысли о том, что они не правы. Просто — пустота.

Я прошёл мимо, оставляя их голоса позади, и вышел на освещённую улицу, где фонари разгоняли темноту светло-серым, почти белым, неровным светом. Город встретил меня привычным шумом — редкие машины, далёкий лай собаки, гул автобуса где-то за квартал. Я шёл, и мысли не появлялись.

Дом встретил меня тишиной. Мать, кажется, уже спала, или просто не вышла. Я скинул куртку, прошёл в свою комнату, не зажигая света, и опустился на кровать, чувствуя, как холод от холма всё ещё держится в теле.